



Недавняя беседа с Валентином Катаевым о том, как неизменен меняющийся мир

КАЖЕТСЯ, было это совсем недавно, чуть ли не вчера. Но весна в ту пору пряталась за очень дальними горами: должна бы вскоре прийти, поскольку так заведено, но все же — придет ли?

Поселок был пуст и торжествен. Скрипели сосны на морозе, пел под ногами тугой снег. И только белки в своих добротных шубах, презирая стужу, прыгали с ветки на ветку и дразнили случайных прохожих, зазывая куда-то в свой великий мир, на свои белыньи тропы. Может, им казалось, что наступило время их царствования и они стали хозяевами Вселенной, ибо для белки Вселенная — это, наверное, расстояние от ветки до ветки, от дерева до дерева. Впрочем, что нам до белок? Видимо, они сами не худо знают, как им поступать, коль скоро пережили, не менее успешно, чем мы с вами, все этапы эволюции. И это навело на думы вечные. И не ведалось, что в десяти километрах от этого задумчивого микромира шумит, бушует гигантский город, в котором есть что угодно, кроме тишины и спокойно прыгающих по деревьям белок.

В доме — старом и вздыхающем — нас уже ждали. О встрече заранее договорились по телефону — хозяин всегда был очень занят, а в последние недели особенно. Ему пришлось писать множество статей, давать интервью, отвечать на вопросы наших и иностранных журналистов. Но мы вместе с корреспондентом одного из центральных агентств приехали к Валентину Петровичу Катаеву вовсе не для того, чтобы взять очередное, неизвестно какое по счету интервью, а с целью менее практичной — свободно поговорить о делах разных, вчерашних и сегодняшних, о том, что без знания невозможна литература, а знание всегда основывается на трех вещах: нужно многое видеть, много учиться и много перестрадать. И о другом, что в беглом разговоре казалось просто яркой деталью, удачной фразой, а теперь, когда Валентина Петровича уже нет, видится совершенно иначе.

Мысль упрямо возвращается к этой беседе, чтобы еще раз продумать ее, вспомнить о частностях и попытаться за этими частностями общее — идею, тот опыт и знания, которые ее породили. Это только кажется, что они случайные.

— Особенно если ты прожил на земле так долго, почти целый век, если у тебя есть возможность сравнивать разные эпохи, события и людей, принадлежащих разным временам. Впрочем, что означает — разным временам? Время одно, и оно непрерывно... Так называемые прежние времена входят в новые почти незаметно. И нужна какая-то дистанция, чтобы осознать, что ты живешь уже в эпоху, которая отличается от той, которая осталась позади... Мне повезло... Привилегия должностителей... И о многом могу сказать: я это видел, я это знаю...

Ощущение покоя исходило от этого человека, а точнее — уверенности. Тут был какой-то загадочный эффект — что-то удивлявшее и западавшее в память навечно. Валентин Петрович знал и помнил все важнейшие события нашего XX столетия. Он не только их наблюдал, во многих — участвовал, а позднее писал о них. А следовательно — думал, думал и думал. Мудрость царяла в этой комнате. О одновременно озарила ее светлокание, вовсе не стариковские гла-

за. И неожиданны были юнорусские интонации, по которым так легко узнать одесситов. А за окном — мороз, снега, и в окно заглядывали совсем не южные ели.

Сохранились в хозяине и живость, и элегантность. Легко помог гостям снять пальто. Свободным жестом пригласил войти в комнату, где все было просто, без избытка мебели и предметов суетного быта. Диван, два стула, стол, до половины покрытый клеенкой. На полках те книги, которые сейчас в работе, портативный магнитофон, шариковая ручка, которую можно купить в любом киоске, — так называемая «школьная».

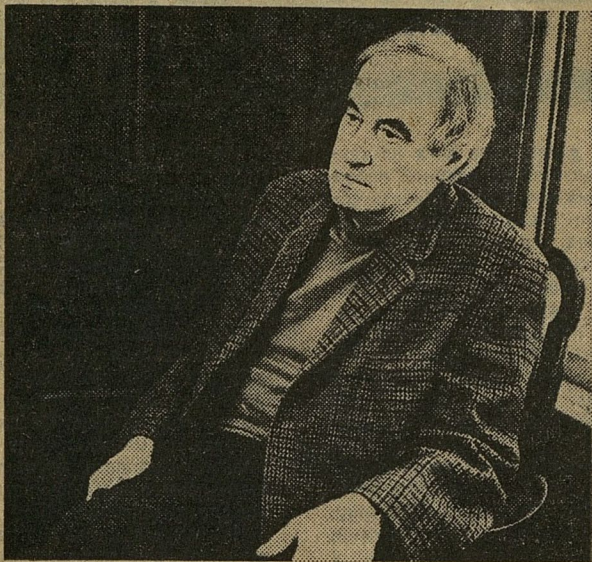
— В последнее время меня часто спрашивают, каких писателей можно считать по-настоящему современными. Вопрос этот звучит и в различных вариантах, и с не менее разными вариациями. Отвечал и вновь готов сказать о том, что нельзя, на мой взгляд, смешивать современность и злободневность. Это разные вещи. Злободневность — прерогатива журналистики. Журналисты должны писать о том, что произошло сегодня, вчера, ну пусть позавчера. И трактовать это с позиций момента. Вовсе не сиюминутности, а именно нынешнего момента. Конечно, здесь тоже возможны различные оттенки. Не нужно упрощать. Усложняется коллективная психология общества, усложняется и журналистский анализ событий, в нем все больше перспективного мышления и историзма. И все же у писателя иначе. Писатель имеет дело и с фактами, и с событиями, но главное — с людскими характеристиками. Ведь литература — это философски-художественный анализ действительности. И для того чтобы он состоялся и был успешен, опираться надо и на политический, и на социологический, и на все другие формы анализа, в том числе и на тот, который уже сделали журналисты. И не устану повторять: писатель имеет дело с характерами людей, с их духовным миром. Естественно, мир этот меняется, эволюционирует. Но не так быстро, как кажется. Всем нам понятно, что наступила космическая эра. Это уже давно случилось... Но вот пришел на память один случай, к которому часто возвращаюсь.

Прогуливались мы как-то раз с Юрием Олешей по бульварам. Не в Одессе, а здесь, в Москве. Вечер был душный — после адской дневной жары, совсем булгаковской. Бродили, кажется, мы в районе Патриарших прудов, не догадываясь, что со временем в связи с приходом в мир «Мастера и Маргариты» мы уви-

дим эти пруды совсем иными глазами... Беседа текла спокойно, элегично... Олеся сказал, что скоро люди высадятся на Луне. К этому идет. И тогда все изменится в принципе и навсегда, прежняя литература станет невозможной, потому что стремительно изменится и сам человек. Я высказал сомнение: так ли быстро человек изменится, что, собственно, с ним после высадки на Луне и даже после создания там каких-нибудь плантаций или заводов произойдет? Почему он должен стать принципиально другим? С какой стати? Когда-то в древности люди научились делать лодки, корабли, отплыли от родного берега и поплыли к берегам другим. Начало мореплавания для человечества было не менее знаменательным событием, чем космические полеты. Однако же не изменился тогда человек настолько, чтобы стать не похожим на себя самого. Космические полеты весьма реально представляли себе и даже описали не только Жюль Верн, но и вовсе не фантасты — Сирано де Бержерак и Федор Михайлович Достоевский. Но Олеся настаивал — нет, человек изменится принципиально, и все вокруг вообще станет не похожим на то, что мы знали ранее. И вот космические полеты стали обыденностью. Что же изменилось в человеке столь кардинально, чтобы говорить о том, что классический литературный анализ неприменим к людям космической эры? Да ничего подобного не произошло. Хотя какие-то новые оттенки и в мышление людей, и, следовательно, в литературу приходят. Например, мне понравился эпизод одной повести — стареющий человек вспоминает, что в детстве солнце виделось ему просто солнцем, а теперь он все чаще осознает, что это сгусток газозобразных раскаленных паров... Понимать он это понимает, а душой принять еще не может. Это точное наблюдение. Эволюция и мышления, и мировосприятия происходит, но не так быстро, как полагал мой друг Олеся...

Белки, прыгающие с ветки на ветку, заглядывающие в окна, были символом этого дня или эпиграфом к нему. Жизнь — многолика, пестрая, вечно меняющаяся — была фоном этой беседы. «Наш мир, различен и един, вершит свой вечный путь» — не знаю, прозвучали ли во время той беседы эти строки из стихотворения Уильяма Вордсворта. Кажется, все же прозвучали. Во всяком случае они были бы к месту: «Наш мир, различен и един, вершит свой вечный путь». Но вечный ли?

— Мы привыкли к мысли, что



...Верши свой вечный путь

Николай САМВЕЛЯН

на нашей Земле возможны различные катаклизмы — от обледенения до смен цивилизаций. Но жизнь остается, просто принимает иные формы, другие лики. Но, может быть, именно сегодня в руках человека впервые оказались силы, способные уничтожить все живое на планете, то есть человечество теоретически способно совершить против себя успешную самоагрессию. Чем было бы такое? Самоубийством? Безусловно. Но ведь самоубийцы существуют. Есть люди с таким складом, с такими особенностями психики. Где гарантия, что всеразрушающая мощь не окажется в руках кого-либо, кто и себя готов погубить, и всех прочих? Постоянно обращать внимание на подобную опасность — святое дело писателя. Он по самому роду своего призвания — страж жизни. Разве не за мир ратовал Гомер? Даже воспевая ратные подвиги, он скорбел над каждым павшим. Конгрессы в защиту мира организовывал Виктор Гюго. Позднее на один из таких конгрессов собирался ехать наш Лев Толстой, которого я воспринимаю как одного из самых современных писателей. Раздумывая князя Андрея о вечности, о человеке и Вселенной, о ценностях мнимых и преходящих — разве не современно все это? Такие мысли есть и в «Дневниках» Толстого. Случайно ли их сегодня издают миллионными тиражами, а читают их десятки миллионов? Значит, великий писатель и великий педагог Толстой продолжает начатое им сто пятьдесят лет назад дело — учит человека уважению к другим, а следовательно, и самоуважению, что чрезвычайно важно, если мы хотим уважать нашу цивилизацию в целом, беречь ее.

Как-то раз в Париже затеялся у нас спор с Альбером Камю о том о сем, о разном. Мало ли о чем могут спорить два писателя, собравшись вместе. Писатели всегда между собой спорили. Думаю, иначе никогда не бывало. Ведь каждый из них считает, что пришел сообщить миру самое главное, чего до него не знали или не понимали. Специфика профессии. Так вот, то ли повинуюсь специфике профессии, то ли в силу характеров, а может быть, просто так — ведь надо о чем-то говорить, сидя в номере гостиницы, нельзя же молча пить кофе — речь зашла о том, что подлинная литература всегда гуманистична по самой своей сути. Иначе не было бы и быть не может. Каждым честным художником движет желание помочь людям — что-то подсказать им, научить, хотя, случается такое, иные ученики оказываются слишком своеволь-

ными, себялюбивыми, не любят неудобного для них педагога, ибо такой педагог требователен, а требовательность зачастую раздражает... Рассказал я Камю, что лет семьдесят назад в одной из одесских библиотек провели изучение читательского спроса. Кого читают? Кого, как тогда говорили, «спрашивают»? Оказалось, что Толстой, который в ту пору был властителем дум передовой России, вовсе не входил в число самых популярных. Его опережали другие, почему-то преимущественно женщины. Не только Лидия Чарская, там были и другие, ныне уже совсем забытые. Если о Чарской хоть иногда вспоминают, то о тех и вовсе... Камю сказал, что такое естественно. Популярные писатели часто на время как бы «забываются», заглушают по-настоящему перспективно и мощно работающих в литературе людей. Я ответил, что все это так и все это естественно, но долг каждого из нас — пропагандировать, настаивать на высоких образцах культуры, бороться за это. Важны пики художественного и философского мышления. Именно они в конечном итоге определяют степень и глубину воздействия культуры на сознание людей. Недаром же Эрнест Хемингуэй, когда ему сказали, что он по тиражам на какой-то там год обошел Шекспира, искренне воскликнул, что это непорядок, надо немедленно что-то делать, принимать меры, поскольку людям нужно Шекспир. Неправильно, если его самого читают больше, чем читают Шекспира.

Камю улыбнулся и сказал что-то весьма остроумное. Фразу я забыл, но смысл ее был в том, что незачем, мол, спорить с судом времени, с судом истории. Мы, писатели, в той или иной мере все подсудимые. Важно, чтобы была полная свобода самовыражения, а остальное, мол, решится без нас. Пиши и жди приговора.

К этой встрече с Камю я часто возвращаюсь в мыслях. Случается, рассказываю о ней. Но надо бы однажды сесть и написать о ней подробно. В ней были любопытные оттенки.

Помню, я не согласился. Сказал, что если так называемая свобода слова в той же Франции превращается в злобный диктат, то никому такая свобода не нужна. Камю всполошился: какой диктат? О чем речь?

Я взял его за руку и вышел на улицу. Кажется, улица эта носила имя удачливого кардинала и политического деятеля, но к тому же еще средней руки писателя Ришелье. А может, это была другая улица. Неважно. Стоял там книжный киоск. Витрина — сплошь порнографическая литература, книги об убийствах, изнасилованиях, во всем культ садизма, слепой силы, разрушения. Камю сначала смутился, потом стал грустным и как-то очень искренне согласился: да, это диктат бездуховности, это агрессия против человека, и ей надо противостоять, с нею нужно бороться. Верится мне, проживи Камю дольше, а жил он до обидного мало, он оказался бы сегодня среди тех, кто истово боролся бы за высокие гуманистические основы мировой культуры, оказался бы среди тех, кто отстаивает право человечества на существование. А ныне дела обстоят именно так — это право надо отстаивать, будить в каждом ощущение поэзии жизни, ее ценности, пьянящей радости бытия.

Что же касается Альбера Камю, то был он, как видится теперь уже издалека, находящимся в движении, в развитии. Жаль, очень жаль, что рано ушел. Практически в возрасте, когда подлинная писательская зрелость была еще впереди.

Есть определенные и преимущества, и привилегии зрелого и даже сверхзрелого возраста. По-другому думаешь, умеешь или кажется, что умеешь на многое посмотреть как бы с дистанции, со стороны. И, конечно, всегда присутствуют мысли о тех, кто сменит нас и в ком мы останемся — о молодежи.

О литературной молодежи позднее и отдельно. Сейчас скажем так, в общем. Много чи-

тают, многое знают. Настали времена, когда знания пошли вширь. Это очень хорошо. Важно, чтобы вслед за знаниями пришла и внутренняя интеллигентность, умение осознать себя и свое место в обществе. Ведь от этого осознания зависит очень многое. Разновелики все, кто делает доброе дело на максимуме своих возможностей. Не может быть внутреннего соревнования, к примеру, между большим поэтом и великолепным слесарем, между отличным врачом и прекрасным шофером. Важно, чтобы каждый стремился к абсолюту в своей работе. И тогда они равны. Тогда не может быть места для зависти, для несправедливого внутреннего соревнования. А такое поведение требует высокой внутренней культуры. Только высокая внутренняя культура, действия, осмысленные во всех отношениях, если хотите, то можно сказать — продуманные в деталях, как шахматисты продумывают партию,

— приносят высокую отдачу и большую эффективность. Осознание этого многими, а желательно — всеми очень важно.

Что может быть житворнее сплза зрелости и молодого задора? Не это ли признак подлинной талантливости? Молодым литераторам — пристального, жадного интереса к жизни и смелой фантазии. Фантазия, кстати, нужна вовсе не для того, чтобы уводить читателей от действительности. Писатель, не обладающий фантазией, не сумеет и приподняться над фактами, создать обобщенный, типический образ. И, что не менее важно, у каждого писателя должны быть и свои, так сказать, родные читатели.

В век чрезвычайно динамичный, стремительный, когда человека атакует столь мощный поток информации, читатели сами порой не в состоянии следить за литературным процессом, выбирать то, что ему лично больше всего по душе. Не менее

важно и другое — у читателей сегодня нет времени и привычки посылать письма автору понравившейся книги, одобрять, поддерживать, скажем так, частным, приватным образом. Авторы, особенно молодые, частенько живут в ощущении эмоционального голода — если и одобряют, то мельком в какой-нибудь статье или рецензии, чаще всего — вскользь, в перечислении. А писателю надо знать, что его слышат, что он адресуется не в пустоту. Раньше, когда я был молодым, чтобы не сказать начинающим, то писал свои вещи, видя перед собой конкретного читателя — кого-нибудь из знакомых, близких. И очень важно было знать, как эти люди отнесутся к написанному тобой... Сейчас иначе. Когда пишу, то никого конкретно не вижу, адресуюсь многим, хотел бы сказать — всем. Но это отдельная тема.

...И вспомнился другой, дав-

ний разговор с Валентином Петровичем в перерыве какого-то писательского заседания. Я рассказал ему об удивительной беседе в поезде со случайным попутчиком, сидящим инженером, всю дорогу занятым приведением в порядок своих галстука и электробритвы. Не включался он на бушевавшие вокруг страсти. А в купе шел не то разговор, не то спор о «Мастере и Маргарите». Тогда-то такие споры были модны. Инженер — он позднее назвал свою профессию — молча слушал, морщился и вдруг спросил, помнят ли присутствующие эпизод с маленьким мальчиком, который испугался и заплакал, когда Маргарита била стекла в квартире критика Латунского? Разъяренная Маргарита, готовая разнести вдребезги весь мир, услышав плач мальчика, невидимая, подлетела к нему, успокоила, сказала, что она лишь снится ему, и рассказала сказку. Мальчик поверил, что это приятный сон, и

вправду уснул. «Так вот, — закончил инженер, — этим мальчиком был я сам. Докажите, что не так».

Валентин Петрович улыбнулся: всем бы таких читателей, жаль, что Булгаков об этом уже не узнает, впрочем, он, наверное, верил — придет время его романа, ведь рукописи не горят...

Думали, что прощаемся ненадолго. Договорились встретиться в Москве и продолжить беседу. Но состояться встрече уже не было суждено. Впрочем, так ли? Открыл книгу Валентина Петровича — и вроде вновь беседуем. И слышен его негромкий голос. И видятся лукавые глаза...

...В тот день белки, прыгая с ветки на ветку, провожали нас до дороги. «Наш мир, различен и един, вершит свой вечный путь», как вершил много веков назад, когда были написаны эти строки, как, верится, будет вершить и в будущем, летя вперед, в бесконечность.